

- ²⁵ *Jo Bane M.* Here to Stay: Parents and Children // Ibid. p. 556.
- ²⁶ *Kagan J.* The Psychological Requirements for Human Development // Ibid. P. 382.
- ²⁷ *Luker K.* Motherhood and Morality in America // Ibid. P. 375.
- ²⁸ *Carlson A.* Op. cit. P. 103.
- ²⁹ Ibid. P. 177.
- ³⁰ Ibid. P. 125.
- ³¹ *Elwood D. T.* Op. cit. P. 44.
- ³² *Keller S.* Does the Family Have the Future? // Family in Transition. P. 522.
- ³³ *Pankraste J. G., Housknecht Sh.* The Family, Politics and Religion in the 80's // Ibid. P. 576.
- ³⁴ *Carlson A.* Op. cit. P. 253.
- ³⁵ *Elwood D. T.* Op. cit. P. 45.
- ³⁶ Ibid. P. 4.
- ³⁷ *Murray Ch.* Losing Ground: American Social Policy, 1950—1980. N. Y., 1984.
- ³⁸ *Elwood D. T.* Op. cit. P. 151.

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ С. А. АРУТЮНОВА «НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ. РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.» (М., 1989. 246 с.)

© 1991 г. СЭ, № 3

В. П. Алексеев

Жанр этой книги не совсем обычен. В принципе автор попробовал построить свое изложение так, чтобы оно производило монографическое впечатление. Книга делится на главы, каждая из глав содержит законченное обсуждение той или иной проблемы. Главы располагаются в определенной последовательности. Однако выбор проблем в общем более или менее условен и они далеко не исчерпывают содержания, обозначенного в заглавии. В то же время сборником статей книгу назвать тоже нельзя: отдельные очерки ранее были опубликованы, но текст их подвергся значительной переработке и во многом они представляют собой самостоятельное сочинение. Я, пожалуй, не побоялся бы назвать книгу развернутым эссе на заданную тему, в котором авторские вкусы нашли отражение как в характере выбора самих вопросов для дискуссии, так и в большей или меньшей углубленности их трактовки. Это все более и более распространяющийся сейчас в научной литературе жанр, развитие которого целиком обусловлено усложнением содержания науки, увеличением числа маргинальных проблем, в какой-то мере современными тенденциями в развитии научного языка, явно обнаруживающего тяготение к образности, внеучной лексике и т. д. Последние два-три десятилетия советская этнографическая литература была полна споров о содержании этнографической науки и характере ее функциональных связей с другими дисциплинами, споров в большей своей части терминологических, но затрагивавших в какой-то степени и узловые проблемы науки. Сергей Александрович Арутюнов, один из ведущих современных этнографов, работающий над разнообразными материалами разных культур и народов, продемонстрировал (не знаю, сознательно или стихийно) исключительное значение сравнительно-культуроведческой тематики в контексте того, что сейчас называется этнографией, этнологией, социальной антропологией и этносоциологией. Много сил было потрачено на поиск специфического содержания, которое можно было бы соотнести с каждым из этих терминов, и на выяснение того, где проходит демаркационная линия между ними. Все споры об этом, в сущности говоря, не привели к удовлетворительным результатам, возможно потому, что сами термины возникли исторически в разных странах для обозначения более или менее сходного круга вопросов и при любом понимании содержания этих терминов остается очевидным и незбылемым — культурные характеристики любого народа ничуть не в меньшей степени, чем язык, составляют его неотъемлемую специфику и позволяют оперировать информацией о нем как историческим целым. Трудно согласиться поэтому с формулировкой, что цель и содержание науки о народах состоит в изучении самих народов, изучать их можно, только изучая их культуру.

Автор снова в этой книге возвращается к дальнейшему обоснованию предложенной им вместе с Н. Н. Чебоксаровым гипотезе об этносах как сгустках информации. Сама по себе попытка привлечения информационных характеристик к пониманию этнической специфики, наверное, плодотворна и может привести при переводе их на количественный уровень к определенным

достижениям. Но в столь общей формулировке эти достижения не предугадываются: в конце концов, любое сообщество, будь оно социальным или биологическим, представляет собой совокупность коммуникативных связей и отношений. Констатация специфики возможна только после обозначения характера самих информативных связей. Каких в данном случае? Этнических? Тогда получается бессодержательная тавтология: этнос представляет собою сгусток этнических информативных связей. Отсюда вытекает, что понятие характера информативных связей является в данном контексте ключевым и без него сама гипотеза остается в высокой степени умозрительной.

Изложение сопровождают два графика: первый из них не очень понятен, второй достаточно тривиален. В книге, посвященной теоретическим проблемам сравнительного культуроведения, они кажутся (не могу отделаться от этого ощущения) лишними.

© 1991 г. СЭ, № 3

М. В. Крюков

ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА НАМ ДАВНО УЖЕ ПОРА ОТКАЗАТЬСЯ?

(Заметки читателя о книге С. А. Арутюнова)

Этнос и культура — эти две фундаментальные научные категории так или иначе всегда составляли главный объект этнографического исследования. Однако историческая судьба соответствующих им областей знания складывалась у нас далеко не однозначно. Начало 1920-х годов было отмечено интенсивными изысканиями, знаменовавшими становление самостоятельного раздела советской этнографической науки — теории этноса. Затем произошел резкий поворот — после этнографических совещаний 1929 и 1932 гг. само понятие «этнос» было надолго дискредитировано как явление буржуазной лженауки. Это нанесло тяжелый удар по теоретическим исследованиям в этнографии, которая на протяжении многих десятилетий после этого оставалась по преимуществу описательной дисциплиной. В послевоенные годы появилось определение этнографии, согласно которому предметом ее являлась культура, хотя и в этой сфере для его теоретического осмысления было сделано немного. Середина 60-х годов — начало нового этапа в истории советской этнографической науки, связанного с реабилитацией и значительным дальнейшим развитием теории этноса. Одновременно произошли существенные сдвиги в чисто культурологических аспектах изучения народов мира. Поэтому появление книги С. А. Арутюнова «Народы и культуры» — факт сам по себе весьма значительный и символичный, он отражает нынешнее состояние советской этнографии в ее настойчивом стремлении к сбалансированности важнейших объектов научного исследования.

Автор книги — известный специалист по проблемам этнографического изучения культуры, и читатель, без сомнения, по достоинству оценит то новое, что внесено С. А. Арутюновым в наши представления о формировании и функционировании этнической культуры. К сожалению, несколько иное впечатление оставляет та часть книги, которая посвящена теоретическим проблемам этноса. Именно она и натолкнула меня на размышления, которыми мне хотелось бы поделиться с коллегами по ремеслу.

Достоинства и недостатки этого труда во многом предопределены самим его жанром. Перед нами монография, написанная по единому плану и состоящая из сопоставимых по своему содержанию глав. Это и не сборник статей, опубликованных на протяжении последних 10—15 лет. По словам автора, в книге использованы материалы его прежних работ, «однако текст их существенно переработан, а отчасти и переосмыслен» (с. 14). Это обстоятельство дает исследователю определенные преимущества, позволяя ему еще раз вернуться к обоснованию важнейших положений, высказанных им ранее по разным поводам и в ином контексте. И если бы книга увидела свет лет пять тому назад, она, по-видимому, не дала бы повода для сколько-нибудь серьезных претензий к автору. Но она появилась в период, когда неторопливое развитие советской этнографической науки прервано происходящими в стране переменами, потребовавшими придирчивого критического пересмотра всего накопленного нами теоретического багажа.

Разумеется, было бы опрометчивым утверждать, что давно назревавший перелом уже произошел. Мы еще опутаны тенетами псевдонаучных аксиом, десятилетиями насаждавшихся в нашем сознании той административно-командной системой, которая до сих пор не уступила еще своих позиций ни в экономике, ни в науке. Трудно даже приблизительно оценить моральный и материальный ущерб, причиненный обществоведению прочно вошедшей в практику подменой анализа объективной реальности комментированием руководящих теоретических указаний. И уж кто-кто, а этнографы знают, сколь устойчивыми бывают исторические традиции.

Советская этнография не меньше других общественных наук пострадала от пристрастия наших политических лидеров к высказыванию категоричных суждений о вещах, известных им лишь понаслышке. Достаточно вспомнить брежневскую реплику о вреде «этнографизмов», способствовавшую резкому падению авторитета этой области науки. Но, пожалуй, ни формула развитого

социализма, ни тезис о специфике советского образа жизни не принесли этнографии столько вреда, сколько высказанное мимоходом рассуждение Сталина об основных исторических типах этнических общностей («исторических общностей людей»), немедленно возведенное в ранг директивно-аксиоматической концепции.

Может показаться парадоксальным, что первые попытки хоть как-то обосновать пресловутую триаду «племя — народность — нация», появившуюся в своей перворожденной теоретической наготе в начале 50-х годов, были предприняты лишь четверть века спустя. В действительности же в этом нет ничего странного: такова внутренняя логика возвращения к прежним идеологическим догмам после десятилетия оттепели. К сожалению, одна из наиболее последовательных попыток задним числом вдохнуть жизнь в формулу «племя — народность — нация» была предпринята в 70-х годах автором рецензируемой книги.

С тех пор прошло еще 20 лет. С. А. Арутюнову пришлось возвращаться к защите сформулированной им (первоначально в соавторстве с Н. Н. Чебоксаровым) концепции во время дискуссии об исторических типах этнических общностей, проходившей на страницах «Советской этнографии» в 1986 г. И вот сейчас значительное место в его новой книге вновь в той или иной мере посвящено аргументации в пользу стадияльной триады этносов. Что же изменилось за это время и в чем проявилось переосмысление автором материалов его прежних публикаций? Для ответа на этот вопрос вернемся к основным положениям концепции С. А. Арутюнова.

Напомню, что исходные посылы С. А. Арутюнова сформулированы им в виде пяти основных гипотез. Согласно п е р в о й из них, существование этнических общностей обусловлено механизмами передачи информации, в результате чего «все категории этнических общностей являются общностями, основанными на информационной связи» (с. 21). В т о р а я гипотеза допускает возможность подхода к классификации этносов с точки зрения плотности инфосвязей: «...ведь совершенно ясно, что эта плотность различна в первобытном племени, которое знает только лишь непосредственное устное общение людей, и в современном обществе, каждый член которого ежедневно получает огромное количество информации не только от непосредственно общающихся с ним людей, но и через книги, почтовую корреспонденцию, средства массовой информации и т. д.» (с. 25). Гипотеза т р е т ь я: плотность информационных связей «возрастает в ходе прогрессивно-поступательного исторического развития не плавно, а ступенчато, с наличием по меньшей мере двух „порогов“, или резких скачков, в темпах прироста этой плотности. Первый скачок связан с созданием письменности, что не жестко, но достаточно достоверно коррелирует с классовым расслоением и формированием государственной власти; второй скачок — с развитием более или менее массового начального образования и средств массовой коммуникации, прежде всего периодической печати и литературы для массового чтения, что в свою очередь коррелирует с развитием капиталистического способа производства» (с. 32). Именно на этом основании С. А. Арутюнов и приходит к выводу о том, что «три разных типа состояния информационной плотности, по-видимому, есть объективная реальность и они соответствуют трем основным эволюционным типам этнических общностей» (там же). Ч е т в е р т а я гипотеза основывается на противопоставлении двух видов инфосвязей — синхронных (горизонтальных) и диахронных (вертикальных). Соответственно третий из выделенных типов этнических общностей — нацию оказывается возможным подразделить на два подтипа, причем сделать это «не по формационному признаку, а исходя только из двух указанных переменных»: для буржуазной нации характерно преобладание синхронных коммуникативных связей, для социалистической — диахронных (с. 33). Наконец, п я т а я гипотеза допускает, что у пережиточно сохраняющихся более ранних типов этноса внутренние инфосвязи могут быть выражены менее интенсивно, чем коммуникации, в силу которых такой этнос оказывается ассоциированным со стадияльно более передовым этносом (с. 36). Такова суть отстаиваемой автором концепции. Попробуем еще раз рассмотреть ее с точки зрения лежащих в ее основе гипотез.

Поистине поразительна та настойчивость, с которой мы пытаемся классифицировать изучаемые объекты на основании признаков, не отражающих сущности данной категории явлений. Нельзя представить себе, чтобы лингвист стал бы делить слова русского языка по числу знаков, используемых для их записи в немецкой транскрипции, а химик предложил бы типологию металлов по принципу их оптовой цены на сырьевом рынке. В этнографии же мы почему-то считаем такого рода классификации допустимыми. Согласно одной авторитетной типологической схеме, «нации», «народности» и «национальные группы» в СССР противопоставляются на том основании, что первые образуют союзные и автономные республики, вторые имеют лишь автономные образования или вообще их не имеют, но расселены преимущественно на территории СССР, тогда как третьи представлены в нашей стране лишь своими небольшими частями, причем «более важное значение для типологизации небольших этносов нашей страны имеет учет их социальной структуры и степени самостоятельности языково-культурных (информационных) связей»¹. Мне подобная классификационная схема всегда напоминала заведомо невероятное суждение какого-нибудь искусствоведа, который предложил бы различать поющих в Большом театре теноров и дискантов по цвету их любимых галстуков. Мы привыкли к тому, что должны сообщать о своем социальном происхождении, даже заполняя анкету для зачисления в группу по плаванию. Но ведь все попытки продемонстрировать, каким образом социальный состав может быть критерием противопоставления якобы существующих в советском обществе «наций» и «народностей», увы, не дали желаемого результата.

То же самое справедливо и в отношении инфосвязей. Сказать об этнических общностях, что они основаны на информационных связях, означает ничего не сказать о сущности этничности. Вообще ни один тип социальной общности, будь то конфессия, политическая партия или

группа сотрудников Института этнографии, дважды в неделю встречающихся по вечерам в бассейне «Москва», не может возникнуть и существовать без объединяющих его членов коммуникативных связей.

Возражая В. И. Козлову, автор книги «Народы и культуры» указывает на неправомерность формационного подхода к классификации этносов: «...по формациям делятся не этносы, а общества, которые могут быть и моноэтничны, но весьма часто бывают полиэтничны» (с. 32). Справедливое замечание! Но ведь то же самое должно быть отнесено и к информационным связям, функционирующим, конечно же, в рамках общества, а не этноса. А это означает, что сама исходная идея С. А. Арутюнова оригинальна, нова, но не конструктивна.

Допустим все же, что в дальнейшем автору удастся привести дополнительные доводы в пользу первой гипотезы. Однако предложение классифицировать этносы по плотности скрепляющих их информационных связей сразу же наталкивается на непреодолимое препятствие. Ибо, говоря словами С. А. Арутюнова, «мы не располагаем и скорее всего никогда не будем располагать аппаратом, фиксирующим интенсивность потоков синхронной информации, не говоря уже о диахронных потоках» (с. 21). Правда, автор спешит успокоить своих коллег, недоумевающих, каким же образом в таком случае мы вообще можем более или менее конкретно оперировать вышеуказанным критерием. «Конечно,— разясняет С. А. Арутюнов,— определить не только абсолютную, но даже и относительную плотность инфосвязей довольно сложно, так как это можно пытаться сделать лишь на основании косвенных показателей. Тем не менее показателем эти есть, в особенности для современных обществ, в которых статистико-социологическому исследованию подвергаются и частота поездок, и личная переписка, и популярность книг, газет, радио- и телепередач на языке своей и другой национальности, и многие другие явления, выражающие в конечном счете разные виды коммуникаций, т. е. все те же инфосвязей» (с. 33). Но может быть, в книге содержатся хотя бы выборочные результаты тех статистико-социологических исследований, которые, согласно заверениям автора, хоть в какой-то мере могут пролить свет на количественную сторону проблемы плотности инфосвязей в современном обществе? Нет, такие примеры в тексте отсутствуют. Читатель должен верить С. А. Арутюнову на слово, самостоятельно решая предложенную ему загадку. Занятие тем более неблагоприятное, что, как следует как раз из некоторых частных исследований синхронных инфопотоков в современном нам советском обществе, их интенсивность имеет порой тенденцию не к росту, а к уменьшению. Так, инициатор проведения операции «Меченые атомы» А. Рубинов сообщил недавно, что 100 писем «самому себе» (из Москвы в Москву), опущенных по одному в 100 почтовых ящиков, пришли:

	в 1971 г.	в 1987 г.	в 1990 г.
в тот же день	2	0	0
утром 2-го дня	39	0	0
днем и вечером 2-го дня	36	17	5
на 3-й день	23	46	39
на 4-й день	0	34	39
на 5-й день	0	2	6
на 6-й день	0	1	9

Автор того же исследования сообщает, что в 1900 г. Л. Н. Толстой отправил из Москвы в Петербург письмо, полученное на следующий день. Через 70 лет письмо по тому же адресу пришло на пятый, а еще через 20 — на седьмой день². Какие поправочные коэффициенты должны внести этнографы в свои статистические выкладки о прогрессивно-поступательном увеличении плотности инфосвязей, выражающихся в получении почтовой корреспонденции, чтобы не прийти к выводу, что сформировавшиеся в России нации имеют тенденцию к постепенному превращению в народности?

Сделаем еще одно допущение и предположим, что со временем мы все же научимся давать количественную оценку совокупным синхронным и диахронным потокам инфосвязей. Ведь наши коллеги-физики вполне могут преподнести нам совершенно неожиданный подарок. Но подтвердит ли будущее фундаментальную гипотезу С. А. Арутюнова о том, что в истории человечества имели место два «порога», или резких скачка в темпах прироста плотности инфосвязей?

Несколько лет назад я имел случай высказать сомнение по этому поводу в связи с тем, что начиная с середины XX в. человеческое общество переживает все убыстряющийся процесс научно-технической революции. Если отвлечься от уровня функциональной состоятельности советской почты, разве не являемся мы свидетелями того, как в передовых странах мира происходит лавинообразное увеличение общего объема информации, обусловленное применением все более совершенных компьютеров, видеотехники, ксероксов и фотонабора, спутниковых средств связи? Вряд ли можно вслед за С. А. Арутюновым утверждать, что, скажем, в Японии интенсивность инфосвязей не претерпела за последние два-три столетия сколько-нибудь существенных изменений. В споре с ним я напоминал о том очевидном факте, что во времена Хиросигэ путешественник преодолевал расстояние от Эдо до Киото за 15 дней, будучи вынужденным останавливаться на каждой из 53 станций вдоль тракта Токайдо, а сегодня уже считающийся по японским меркам устаревшим экспресс «Хикари» доставит вас из Токио в Киото за два с половиной часа. Можно ли на этом основании утверждать, что в современной Японии вследствие резкого повышения уровня плотности инфосвязей складывается качественно новый тип этнической общности, стадияльно превосходящий старую добрую нацию?³ Вновь иллюстрируя свой тезис о трех состояниях

инфосвязей на примере Японии (с. 32), известный специалист по японской этнографии оставляет мой вопрос без ответа.

Но проблема не ограничивается лишь современной научно-технической революцией. До начала 50-х годов ученые были уверены, что в XI—XIV вв. подавляющее большинство населения Новгорода не умело ни писать, ни читать. Находки новгородских берестяных грамот заставили историков отказаться от этого представления. Сейчас вполне очевидно, что берестяные грамоты «писались людьми разных социальных уровней и занятий, разных наклонностей, захваченными разными заботами и разным настроением. Одни письма написаны в горе, другие в порыве хозяйственного рвения. Порой рукой писавшего водил гнев, а порой — страх. Авторы грамот делали записи для личного употребления и для других людей, своих адресатов. Одни документы предназначались для хранения, другие целиком посвящались заботам быстротекущего дня. Жизнь постоянно выставляла поводы для того, чтобы то один, то другой новгородец, отвязав от пояса отполированное частым употреблением «писало» и расправив белый берестяной лист, сядил записать на берестяной коре записку, письмо, распоряжение или донесение. Береста сохраняет все — от первых робких шагов в овладении грамотой до духовного завешания и извещения о смерти»⁴. Жители средневекового Новгорода слыхом не слыхивали о капиталистическом способе производства, но уровень распространения грамотности, связанный с «развитием более или менее массового начального образования» и необходимый, по С. А. Арутюнову, для скачкообразного перехода от народности к нации был у них налицо. Говоря о времени появления периодической печати и литературы для массового чтения, можно, конечно, ориентироваться на западноевропейские мерки. Но можно при желании вспомнить, что первый правительственный вестник начал издаваться в Китае в I в. до н. э.⁵, а в столице примерно в это же время существовал целый квартал, где шла бойкая торговля книгами. Да ведь и сам С. А. Арутюнов признает, что «порогов» в темпах роста плотности инфосвязей в истории человечества было «по меньшей мере» два (с. 32). А раз это так, то и исторических типов этнических общностей должно было быть не менее трех, но отнюдь не обязательно именно три. Как видим, неосторожно употребленные слова «по меньшей мере» сводят на нет всю логику внешне стройной конструкции.

Еще менее доказательной представляется следующая по счету гипотеза, обосновывающая противопоставление буржуазных и социалистических наций с точки зрения преобладания синхронных или диахронных инфопотоков. Хорошо известно, что само это противопоставление было впервые введено Сталиным в его статье 1929 г. Позднее делались малоубедительные попытки приписать эту идею Ленину; вопреки фактам некоторые наши теоретики продолжают настаивать на этом и сегодня⁶. Что до позиции в этом вопросе, занимаемой С. А. Арутюновым, то она весьма противоречива. С одной стороны, два подтипа наций выделяются им «не по формационному признаку», с другой — якобы свойственное социалистическим нациям быстрое нарастание плотности внутринациональных связей объясняется освобождением «от преград антагонистического классового общества» (с. 39), а это явно должно быть отнесено к числу формационных критериев. Главное же состоит в том, что автор вообще не считает необходимым пояснить, на каких фактических основаниях он пришел к выводу о преобладании синхронных связей в буржуазных нациях и диахронных — в социалистических. С. А. Арутюнов ссылается на «пропаганду революционных традиций, постоянно культивируемую и в общественной жизни, и в художественных образах память об обстоятельствах перехода к социализму и социалистическом строительстве, об их героях, о событиях гражданских, национально-освободительных, отечественных войн» (с. 33), свойственную социалистическим нациям. Еще десятилетие назад это соображение могло показаться заслуживающим внимания. Сегодня оно выглядит анахронизмом, оставленным нам в наследство от иных времен. Сейчас мы уже достаточно отчетливо представляем себе, что культивировавшаяся в нашей стране память об обстоятельствах перехода к социализму была искаженной, ущербной, карикатурной, в полной мере определявшейся опрокинутой в прошлое политической конъюнктурой. Нигде в мире не было примеров такого оскпления исторической памяти, как в социалистических странах. Наша история была переписана заново, искромсана, искажена порой до неузнаваемости, и только сейчас мы понемногу возвращаемся к ее адекватному изображению. Становится грустно, когда узнаешь, что отличие «социалистических наций» от «буржуазных» сводится к такого рода вертикальным коммунизмам.

Впрочем, выясняется, что это вроде бы и не совсем так. На с. 93 читатель с удивлением узнает, что социалистические нации отличаются от буржуазных «более высоким уровнем этнической консолидации». А поскольку процесс консолидации выражается прежде всего в повышении плотности все тех же инфосвязей (с. 110), то становится как-то не совсем ясным, почему (если оставаться на позициях формационного подхода) социалистические и буржуазные нации с их различным уровнем плотности означенных связей все-таки являются нациями, а социалистические народности с тем же уровнем плотности и «общим качеством жизни» (с. 37) до стандартов нации не дотягивают.

Концепция буржуазных и социалистических наций успешно украшала страницы исследований советских этнографов в годы, когда административно-казарменный социализм рассматривался как наивысшая из всех вершин социального прогресса, достигнутых человечеством. В полном соответствии с этой догмой мы еще два года назад утверждали, что «в силу исторических условий в ГДР развивается социалистическая немецкая нация, в ФРГ — буржуазная»⁷. Но после этого прошло лишь несколько месяцев, и социалистические немцы ГДР с их приверженностью к вертикальным инфосвязям «на всю глубину существования данного строя в стране» (с. 33) и буржуазные немцы ФРГ, чья историческая память «оттеснена далеко на задний план явно избыточным потоком информации сиюминутного, часто эфемерного характера» (там же), вдруг

пришли к совершенно неожиданному для этнографов-теоретиков выводу о том, что «мы — один народ!». Любопытно, удастся ли жителям Магдебурга или Лейпцига в ближайшей исторической перспективе воспрепятствовать угрозе со стороны эфемерных сиюминутных инфосвязей, которые должны нахлынуть на них после объединения Германии? Или, может быть, уроженцы Нюрнберга отдадут предпочтение дефицитным для них сегодня вертикальным коммуникациям? И что, кстати, ожидает наши нации, если радикальная перестройка социалистического общества устранил глубинные причины того хронического отставания в сфере синхронных достижений научно-технического прогресса, компенсировать которое мы на протяжении десятилетий без видимого успеха пытались пропагандой вертикальных революционных традиций?

Наконец, трудно согласиться и с заключительной гипотезой С. А. Арутюнова, связанной с понятием «ассоциированности». Представляется, что ситуация, при которой совокупность необходимых для функционирования этноса внутренних связей уступает по своей интенсивности аналогичным связям, существующим между ним и соседней этнической общностью, может быть однозначно определена как процесс утраты этносом своей первоначальной специфики, его ассимиляции. Автор декларирует свое несогласие с подобной точкой зрения (с. 29), но не приводит доказательств ее ошибочности. Те же примеры, которые привлечены им для характеристики «социалистических народностей», ассоциированных в условиях СССР с «социалистическими нациями», выглядят в свете нынешней этнической ситуации в стране неубедительными. Утверждение о том, что «небольшие социалистические народности в РСФСР — чукчи, коряки, нивхи, эвенки, ненцы и др. — ассоциированы с русской социалистической нацией» (там же), волюно или невольно скрывает за наукообразными терминами то критическое положение, в котором оказались сегодня перечисленные народы, в значительной мере утратившие свой родной язык, свою традиционную культуру и лишенные привычной среды обитания. Хотел ли того С. А. Арутюнов или нет, термин «ассоциированность» выглядит в наши дни не более чем ласкающим слух эвфемизмом, вполне уместным в годы, когда национальный вопрос в СССР был окончательно решен, но неприемлемым в условиях возвращения к правде, какой бы тяжелой она ни была. К сожалению, в подобной тональности выдержан вообще весь раздел главы пятой, озаглавленный «Этнокультурные процессы в эпоху социализма» (с. 109—113). Читая его, невольно ловишь себя на мысли, что надо бы еще раз взглянуть на титульный лист книги и убедиться, что она действительно вышла в 1989 г. Как бы то ни было, думаю, читатель не согласится с утверждением автора о том, что предпринимая переиздание своих прежних работ, он переосмыслил их «в соответствии с новыми достижениями исторической науки и переменами, происходящими сегодня в общественной жизни как нашей страны, так и всего мира» (с. 14—15).

Примечания

- ¹ Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 1987. С. 48.
- ² Рубинов А. Операция «Меченые атомы—6» // Литературная газета. 1990. 11 апреля.
- ³ Крюков М. В. Главной задачей по-прежнему остается проникновение в сущность этнических связей // Сов. этнография (далее — СЭ). 1986. № 5. С. 68.
- ⁴ Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1965. С. 156.
- ⁵ Гэ Гунчжэнь. История прессы в Китае. Пекин, 1955. С. 24—25 (на кит. яз.).
- ⁶ Бромлей Ю. В. К разработке понятийно-терминологических аспектов национальной проблематики // СЭ. 1989. № 6. С. 6.
- ⁷ Филимонова Т. Д. Немцы // Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 325. Впрочем, не могу утверждать, что приведенная формулировка принадлежит автору данной статьи — Т. Д. Филимоновой. В моей статье «Китайцы» в том же издании фраза: «После образования в 1949 Китайской Народной Республики сложилась китайская социалистическая нация» (там же, с. 220) — была вписана без моего ведома. В этом еще одно проявление командно-административной системы в науке: *volentem ducunt fata, nolentem trahunt*. Другими словами, как некогда заметили древние, «желающего судьба ведет, нежелающего — тащит».

© 1991 г., СЭ, № 3

А. С. МЫЛЬНИКОВ

Рассмотреть культуру этноса как основной предмет изучения этнографической науки — такую задачу поставил перед собой С. А. Арутюнов в недавно вышедшей в свет монографии. Поясняя общий замысел, он пишет: «В последующих главах книги делается попытка показать наиболее существенные взаимосвязи, которые существуют в разные эпохи и на разных этапах развития между процессами, происходящими в культурном достоянии этноса или группы взаимодействующих этносов, т. е. в их языке, материальной и духовной культуре, с одной стороны, и собственно этническими процессами и состояниями, находящими выражение в этническом самосознании, в оценке и определении людьми своего этнического бытия. Связи эти двусторонни, т. е. не только культура воздействует на этничность, но и этничность воздействует на культуру. В этом взаимо-

действии и состоит основная сущность этнокультурной динамики» (с. 14). Анализ очерченного круга проблематики подчинена композиция монографии, состоящей из 11 глав.

Не считая необходимым заниматься их реферированием, ограничимся лишь напоминанием названий этих глав. Первая, имеющая подзаголовок «Вместо введения», названа «Генезис этнической культуры и этногенез». Далее следуют темы: «Сеть коммуникаций как основа этнического бытия», «Археологические культуры и этносы», «Этнокультурная динамика в доклассовых, раннеклассовых и рабовладельческих обществах», «Этнокультурные процессы с начала новой эры до наших дней», «Структурный параллелизм двухкультурности и двуязычия», «Этническое и межэтническое в культуре», «Традиции и инновации. Взаимодополнительность инноваций и традиций», «Ротационный механизм усвоения престижных инноваций», «Культура жизнеобеспечения и ее место в культурной динамике этноса», и, наконец, «вместо заключения» — глава «Экологические аспекты этнокультурологических проблем».

Как видно из приведенного перечня, монография С. А. Арутюнова охватывает широкий круг сложной, весьма актуальной, но вместе с тем и во многом дискуссионной проблематики. Она выросла из статей, опубликованных ранее автором, который одновременно учитывал результаты исследований ученых, точку зрения которых в той или иной степени разделяет. Тем не менее С. А. Арутюнов счел необходимым подчеркнуть, что всецело принимает на себя «ответственность за высказанные в книге идеи и их аргументацию» (с. 15).

Столь широко задуманный многоплановый труд не позволяет в рамках одной рецензии остановиться на всех поднятых автором вопросах. Впрочем, едва ли это и необходимо. Думается, важнее понять и дать оценку ключевым методологическим посылок, на которых монография построена. В этом смысле, как нам кажется, определяющими для авторской позиции являются две первые главы. Уже в первой из них С. А. Арутюнов исходит, постоянно возвращаясь к подтверждению этого, из данного Э. С. Маркьяном определения культуры как внебиологически выработанного и передаваемого способа человеческой деятельности. Заслуживает внимания конкретизация этого весьма общего определения. «Если, — пишет автор, — попытаться более детально и глубоко раскрыть такое понимание культуры, то содержание ее предстает как совокупность способов, которыми институционализируются различные виды человеческой деятельности» (с. 5—6). Аспект институционализации, вводимый С. А. Арутюновым, представляется с методологической точки зрения весьма важным и плодотворным.

Рассмотрение вопросов этнокультурной динамики автор считает целесообразным начать с этногенеза, отмечая возникающие при этом трудности. «Здесь, — поясняет он, — разумеется, встает проблема „яйца и курицы“, так как в этногенезе любого известного нам этноса принимали участие различные более или менее известные или неизвестные нам, но вполне уже оформленные этносы или же отдельные их части, которые в своем прошлом прошли собственный долгий путь независимого этнокультурного развития» (с. 7—8). Что же касается возникновения древнейших этносов из доэтнического состояния (так называемый первичный этногенез), то в этом случае, полагает С. А. Арутюнов, возможны лишь гипотетические суждения с использованием в некоторых случаях метода ретроспективного моделирования. Поэтому во избежание постоянно встречающейся нечеткости в употреблении терминов «этногенез» и «этническая история» автор указывает на свою солидарность с теми учеными, которые под этногенезом понимают лишь процессы, в результате которых «из ряда существовавших до этого этносов, этнических общностей или их частей складывается новый этнос, осознающий себя как нечто отличное от любых ранее существовавших групп и выражающий это самосознание через новое самоназвание» (с. 8). В связи со сказанным возникает вопрос о выборе подхода к наиболее универсальному постижению внутренних закономерностей самого механизма этнических процессов. Ответ на поставленный вопрос и составляет, в сущности, квинтэссенцию авторской позиции: допуская вариативность исследовательских приемов, С. А. Арутюнов стремится «рассмотреть эти процессы с одной из многих возможных точек зрения, а именно в аспекте потоков информации» (с. 17).

Реализуя в последующих главах сформированный принцип, автор, в частности, в качестве критерия типологизации этнических общностей избрал степень плотности инфосвязей у разных этносов в различные исторические эпохи. Он различает синхронные и диахронные инфосвязи.

К первым (прямые разговоры, переписка, информация в прессе и т. д.) С. А. Арутюнов относит те, которые происходят на определенной территории и в определенное время. Их картографирование, по мнению автора, позволило бы получить наглядное представление о перепадах плотности, причем зоны пониженной плотности соответствовали бы границам между разными этническими общностями. Что касается диахронных инфосвязей, то они трактуются как включающие всю этнокультурную традицию данного народа, преемственно передающуюся от поколения к поколению в словесной и материально-изобразительной формах. Этот вид инфосвязей стабилизирует этнос во времени (с. 20—21). Правда, С. А. Арутюнов делает существенную оговорку насчет того, что «мы не располагаем и скорее всего никогда не будем располагать аппаратом, фиксирующим интенсивность потоков синхронной информации, не говоря уже о диахронных потоках». Выход заключается в комплексном применении суммы косвенных или подвергающихся обобщению отдельных элементов тех и других связей. Это иллюстрируется таблицей классификации пространства этнических общностей разных типов (с. 35). Приходится сожалеть, что автор не привлек до сих пор должным образом не оцененных методических соображений Б. Ф. Поршнева о синхронистических и диахронистических срезах, изложенных им в монографии «Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в.» (М., 1970).

При топологизации этнических общностей С. А. Арутюнов, как уже сказано, опирается на перемены в плотности потоков информации, в основном базируясь на принятой в нашей науке «триаде» с внесением отдельных уточнений. Так, вместо «племени» он предлагает термин

«соплеменность», которая как тип отвечает доклассовому этапу общества. Говоря, что «народность» в целом соответствует рабовладельческой и феодальной формациям, С. А. Арутюнов справедливо обращает внимание на то, что в ряде случаев народности, сложившиеся при феодализме (в качестве примеров приведены бретонцы и серблужичане), продолжают существовать в качестве народностей и в последующих формациях. Не останавливаясь на более подробном изложении всей аргументации автора, отметим, что она, несомненно, заслуживает внимания. Во всяком случае, подход С. А. Арутюнова по замыслу более перспективен, чем предложения типологизировать этнические общности по формальному признаку, поскольку, как подчеркивается в монографии, «по формациям делятся не этносы, а общества, которые могут быть моноэтничны, но весьма часто бывают полиэтничны» (с. 32). Соглашаясь с этим, добавим, что имеются и дополнительные возражения против формационной типологизации. Во-первых, исторический и этнический процессы протекают неравномерно, поэтому разные этносы выходят на путь классового развития асинхронно, причем асинхронность эта колеблется от нескольких столетий до нескольких тысячелетий. Вспомним хорошо известный факт, что к концу XIX — началу XX в. на значительной части земного шара господствовали не только феодальные, но и дофеодальные отношения. Естественно, что в рамках одной формации, в глобальном смысле являющейся в ту или иную эпоху ведущей, перспективной, существуют типологически разные этнические общности. Поэтому ограничиваться только формационной привязкой — значит не сказать ровным счетом ничего или, во всяком случае, очень мало. Во-вторых, один и тот же тип этнической общности даже в рамках одной формации, не остается неизменным, а иногда претерпевает качественные изменения, меняющие его этнический облик. Можно ли, например, этносы Франкской империи, Велikomоравской державы или Древнерусского государства считать однопорядковыми с выросшими из них, опять-таки в рамках феодализма, народностями — французской, немецкой, чешской, словацкой, русской, украинской, белорусской и т. д.? Не случайно в поисках терминологического различия историки-слависты в настоящее время используют для обозначения подобных общностей термины не только «феодальная народность», но и «раннефеодальная народность» (хотя, на наш взгляд, последние точнее было бы именовать раннеклассовыми).

Знакомясь с мотивировкой исходных принципов, сформулированных в монографии, хотелось бы поделиться соображениями, которые, разумеется, могут быть не менее дискуссионными, чем положения, по поводу которых они высказываются. Прежде всего это касается типологизации этнических общностей, а также сопряженной с этим терминологии. В одних случаях С. А. Арутюнов именуется компоненты «триады» формами существования этносов, а в других — основными типами. Очевидно, что здесь необходима унификация, тем более что форма и тип любого процесса не одно и то же. Очевидно, соплеменность, народность и нация во всех отношениях следует называть типом социальной организации этноса, подразумевая, что формы его конкретного проявления в разные исторические эпохи могут быть различными. Но дело, конечно, не в этом.

Вслед за Ю. В. Бромлеем автор монографии оперирует термином «этникос», поясняя, однако, что понимает под ним «этнос», «народ» (с. 22). Мне вообще введение термина «этникос» не представляется насущно необходимым, поскольку различие между «этносом» и «этносоциальным организмом» (или типом социальной организации этноса) достаточно ощутимо. А приведенное выше уточнение С. А. Арутюнова снимает, по сути дела, вопрос о целесообразности терминологического усложнения. Отчасти с этим связан важный вопрос о так называемой этнической ассоциированности. Вопрос этот, ставившийся в свое время Ю. В. Бромлеем, детально рассматривается и С. А. Арутюновым. «Ассоциированность», — поясняет он, — в любом случае предполагает наличие некоторой (хотя далеко не всеобщей) двуязычности и двухкультурности» (с. 36). Нам представляется, однако, что вопрос не сводится, как это вытекает из рассуждений автора, к ассоциированности, не поднявшихся до уровня народностей племен или соплеменностей с теми или иными античными и феодальными народностями, либо к ассоциированности последних с нациями. Более того, этническая ассоциированность вообще не должна рассматриваться на уровнях социальных типов организации этносов, хотя бы потому, что у многих народов она удерживалась и удерживается до сих пор веками, тогда как социальные типы этнического бытия претерпевали изменения. Кстати, это подтверждается и примерами, приведенными в монографии (с. 36).

Иными словами, концепция этнической ассоциированности отвечает реальности и методологически плодотворна. Но она должна трактоваться на уровне этнического, а не социального развития: не племя или народность А ассоциированы с народностью или нацией В, а этнос А с этносом В. Такой подход, между прочим, снимает и возможные упреки в теоретическом обосновании насильственной ассимиляции малочисленной народности более сильной и продвинутой нацией. Что же касается социальной ассоциированности, то она тоже существует (например, Лихтенштейн со Швейцарией, Андорра с Испанией и Францией и т. п.), но лежит в иной плоскости.

При оценке книги С. А. Арутюнова нельзя не учитывать важного обстоятельства: написанная несколько лет назад, она была сдана в набор в марте, а подписана к печати в июле 1989. Вспомним, что в эти месяцы в стране происходили сдвиги в общественном сознании, для которого переломным стали дни работы I Съезда народных депутатов СССР. А вскоре, осенью того же года, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, составлявших социалистическое содружество, цепной реакцией прокатились волны демократических революций. Возникла новая реальность, возможность которой еще недавно трудно было предположить. Но именно поэтому оценивать многие положения книги С. А. Арутюнова с позиций дня сегодняшнего, зная то, о чем автор не знал и знать не мог, было бы не только не корректным, но и в высшей степени безответственным делом. И не об этом речь, ибо именно эти непредвиденные изменения открывают уни-

кальную возможность для объективной проверки на практике теории этноса, разрабатывавшейся в советском и зарубежном марксистском обществоведении, включая и этнографическую науку, многие тезисы которой нашли отражение и в монографии С. А. Арутюнова.

Вот, например, привычное деление наций на буржуазные и социалистические. Это деление, бегло упомянутое В. И. Лениным, нашло, как известно, детальное обоснование у И. В. Сталина и на многие десятилетия стало догмой, которой, впрочем, придерживались далеко не все специалисты, обращавшиеся к этой теме. Но господство этой догмы несомненный факт. Не удивительно, что и С. А. Арутюнов исходил из того, что нации распадаются на два подтипа: буржуазные и социалистические. Он связал это с различием инфосвязей, полагая, что «интенсивность диахронических инфосвязей в социалистической нации существенно выше, чем в буржуазной» (с. 33). Судя по всему, это утверждение нуждается в корректировке: различие следует усматривать не в преобладании в том или другом случае синхронных или диахронических инфосвязей, а в специфике их функционирования. Саму же специфику необходимо изучать, выработать для этого методику, которая в настоящее время отсутствует. Другое дело, справедливо ли само деление наций на буржуазные и социалистические. Вопрос достаточно сложен, чтобы от него отмахиваться или превращать в предмет иронии: ведь факт существования стран социалистического содружества в Центральной и Юго-Восточной Европе остается бесспорным достоянием истории, как бы к нему ни относиться. Было ли, например, правомерным утверждение о существовании двух немецких наций — социалистической в ГДР и буржуазной в ФРГ? Но можно задать контрвопрос: существует ли австрийская нация? Ведь на основе немецкого этноса возникли не только немецкая и австрийская, но отчасти и швейцарская нация. Следовательно, сохранись на будущее политическое разделение Германии, с абстрактно-теоретической точки зрения складывание еще одной — «восточногерманской» нации не было бы утопическим прогнозом. Здесь, однако, вступает в силу фактор времени. И основная теоретическая ошибка нашего обществоведения проявилась на этом примере в полную силу: желаемое принимая за сущее, процессы, исторически не завершённые, считать состоявшимися. Эта ошибка присуща и многим работам по так называемой этнографии современности, когда отрыв от исторической ретроспективы неминуемо приводит к недоустойчивости прогнозирования перспективы.

Этот недостаток, выходящий далеко за рамки рассматриваемого исследования, проявляется и в дискуссиях по поводу дефиниции термина «нация». Участники споров обычно исходят от наиболее близкого им как специалистам материала, хотя очевидно, что нации Центральной и Юго-Восточной Европы или Советского Союза далеко не то же самое, что нации Западной Европы, а тем более Американского континента или освободившихся стран Африки и Азии. Давно назрела потребность, прекратив схоластические споры о количестве признаков нации и попытки каким-то образом заново перечитать классиков, обсудить на серьезном научном уровне проблему типологии наций как социального типа (одного из социальных типов!) организации этносов. И тогда, наверно, выяснится, что нация может иметь несколько структурных подтипов — и преимущественно моноэтнический, и преимущественно полиэтнический, а равно этнополитический, этногосударственный и т. п. Но во всех случаях этническое и социальное будут составлять обязательные параметры нации, только содержание социального нужно понимать многопланово, вариативно, одновременно рассматривая его, а равно и этнические процессы, не в статике, а в их постоянном развитии. Если подходить к этому с подобных позиций, то нельзя не признать этот аспект теории этноса, разделяемый С. А. Арутюновым, с принципиальной точки зрения верным и прошедшим испытание на прочность. Однако от привычных «подтипов» наций придется — и это представляется тоже проверенным — отказаться.

Продуктивен ли сам по себе информационный подход, положенный автором в основу исследования? Обратим внимание на интересное наблюдение С. А. Арутюнова, согласно которому плотность инфосвязей «возрастает в ходе прогрессивно-поступательного исторического развития не плавно, а ступенчато, с наличием по меньшей мере двух „порогов“ или резких скачков в темпах прироста этой плотности» (с. 32). Первый он связывает с возникновением на пороге классового общества письменности, второй — с развитием средств массовой коммуникации (в частности, книгопечатания) на заре капитализма. В итоге три разных типа состояния информационной плотности, согласно С. А. Арутюнову, «по-видимому, есть объективная реальность, и они соответствуют трем основным эволюционным типам этнических общностей, как бы их ни называть» (с. 32). Уместно заметить, что, наоборот, ослабление информационной плотности или ее замедленная эволюция сопряжены с динамичной этнических процессов. В качестве одного из возможных примеров сошлемся на историю России. До середины XVI в. и здесь, и в странах зарубежной Европы основным и единственным способом книгопроизводства было рукописание. Оно сохраняло это значение в России и тогда, когда за рубежом, во всех западноевропейских странах постепенно утверждается книгопечатание, пока в середине XVI в. в Москве не возникла типография, деятельность которой связана с именем Ивана Федорова. Но, во-первых, она была государственной, а во-вторых, тематика печатаемых там произведений имела религиозный характер. Тем временем в зарубежной Европе, в том числе и в соседних с Россией странах (Польша, Чехия и др.) появились частные типографии, а издававшаяся ими продукция носила разнообразный тематический и жанровый характер, включая не только книги, но также периодические издания. Так, с каждым новым продвижением вперед на Западе Россия с точки зрения инфосвязей отставала на один порядок, хотя в последующие столетия и предпринимались попытки, порой удачные, это отставание преодолеть: примечательно, что к 1917 г. книжный рынок России по своему объему занял первое место в мире. Если вдуматься в сказанное, то нельзя не признать существование корреляции между этническим развитием, консолидацией русской народности, ее перерастанием в нацию

и эволюцией, далеко не плавной, плотности информационных связей. Что касается прогностического аспекта суждений С. А. Арутюнова, то он, правда осторожно, считает: «Иными словами, не исключено, что мы стоим на пороге нового, третьего в истории человечества скачка в процессах роста интенсивности коммуникаций, и этнические общности, которые сложатся в результате этого скачка, будут обладать рядом новых, еще не присущих ни одной из современных наций качеств» (с. 38). Развитие компьютеризации, ставшее реальностью в большинстве стран Западной Европы и США, но еще остающееся задачей будущего для нашей страны, дает все основания согласиться с этим прогнозом автора монографии.

Итак, книга С. А. Арутюнова, как можно заключить из сказанного, представляет интерес как в известном смысле итоговый, обобщающий труд, подводящий черту под целой полосой теоретических поисков, со всеми их просчетами и достижениями. С. А. Арутюнов сформулировал ряд основополагающих принципов и идей, которые заслуживают внимательного отношения к себе и требуют дальнейшей разработки с учетом того нового, что приносит жизнь.

© 1991 г., СЭ, № 3

Ответ М. В. Крюкову

Я глубоко благодарен М. В. Крюкову за его критические замечания по моей книге «Народы и культуры» (далее НИК). Книга, сданная в издательство «Наука» в 1988 г., была подписана к печати 18 июля 1989 г., т. е. тогда, когда мировая социалистическая система еще реально существовала практически в полном объеме и ни один футуролог не взялся бы предсказать, что менее чем через полгода она станет достоянием истории. Сегодня же многие положения моей книги требуют пояснений и дополнений и выступление М. В. Крюкова очень помогает мне их сформулировать и высказать.

Я не могу согласиться с мнением М. В. Крюкова, что информационные связи столь же мало пригодны для классификации этносов, как цвет любимого галстука для классификации оперных певцов. Цвет галстука — не параметр певца, хотя о личности человека вообще он может порой сказать немало. Плотность же инфосвязей, конечно, один из параметров этносоциального организма, но, разумеется, не единственный и не исключает возможности построения иных классификаций, может быть, более удачных, по иным параметрам. Он присущ и всем другим объединениям людей (М. В. Крюков называет конфессию, партию, группу пловцов-любителей; в НИК, с. 21, названы конфессии, филателисты, радиолюбители, так что в этом пункте разногласия между нами нет). Однако в НИК оговорено, что «во всех этих случаях речь идет об общности какого-то определенного, довольно узкого тематического сектора информации. Когда же мы говорим об этнической общности, то здесь определяющей выступает вся совокупность информационных связей». Она же определяет и бытие любого многонационального общества (города, государства), которое состоит не просто из этнофоров разных этнических, но из разных национальных групп (общин), о чем и сказано на той же с. 21 на примере китайцев и малайцев Малайзии.

Характер инфопотоков меняется с течением времени, но вряд ли стоит бояться, что русская нация «деградирует» до уровня народности из-за несомненного ухудшения нынешней почтовой службы в России по сравнению с временем Л. Н. Толстого. Письма потому и идут медленнее, что несравнимо возрос с тех времен общий объем почтовой переписки, все шире дополняемый к тому же телефоном, телеграфом, телефаксом и прочими видами телекоммуникации. Но вот наше отставание в развитии их новейших форм действительно внушает опасение. М. В. Крюков считает, что я оставил без ответа его вопрос о том, не складывается ли в Японии на основе разного повышения уровня плотности таких инфосвязей новый тип этнической общности, стадияльно превосходящий «добрую старую нацию». Но в НИК (с. 38) я пишу именно о том, что в результате намечающегося нового скачка в технике телекоммуникаций этнические общности недалекого будущего будут, возможно, обладать рядом новых, еще не присущих ни одной из современных наций качеств. И если наше отставание в коммуникационно-технической оснащенности от Японии, США и других наиболее развитых стран мира не сократится, то мы действительно можем оказаться в стадияльно отличной от них категории этнических общностей — с отличием отнюдь не в нашу пользу. Так что с тем тезисом, что «исторических типов этнических общностей должно быть не менее трех, но отнюдь не обязательно именно три», я всегда был согласен. Что же касается времен давно прошедших, раннего оформления книжности и периодики в Китае, изобилия письменных документов в древнем Новгороде, а также, добавлю от себя, высокого уровня грамотности и книжности в средневековой Армении и Грузии, как и у ряда других народов, то я не сомневаюсь, что М. В. Крюкову лучше, чем мне, известно, как рафинированная книжность в Китае до недавнего времени сочеталась с неграмотностью подавляющего большинства населения. Какой процент грамотных был в Новгороде, сказать все же трудно. Но уж то, что издавать массовую литературу, учебники и периодику на бересте нельзя, это, наверное, неоспоримо. Не одно лишь фабричное производство бумаги создает нацию, но нация не может нормально существовать

без бумаги фабричного производства (а народность, между прочим, может — на доиндустриальном уровне, разумеется, что мой оппонент, наверное, так же, как и я, мог наблюдать, например, в районах, населенных горными народами Вьетнама).

Перейдем теперь к вопросу о различии (в коммуникационном аспекте) между буржуазными и социалистическими нациями. Оно сегодня, действительно, невелико и, кажется, с каждым днем становится все меньше. Может быть, в этом факте действительно находит свое отражение некоторое конвергентное движение как буржуазных, так и социалистических обществ в каком-то новому будущему синтетическому типу общества. «Преграды антагонистического классового общества» (изолированность и эндогамность имущественно-социальных слоев и групп) тоже как будто начинают терять свою актуальность и в несоциалистических обществах. Отчасти и это я имел в виду, говоря, что «современную ситуацию можно охарактеризовать как вновь обретающую тенденцию к возрастанию диффузности, к уменьшению контрастности высокоплотной инфосети» (НИК, с. 39). Напомню, что изначальная диффузность, но при малой плотности инфосети постулируется нами как состояние ранней первобытности, отсутствие социальных различий, и отсутствие социальных групповых различий мыслится нам как тот идеал будущего, ростки которого мы пытаемся увидеть и сегодня.

Социальные группы и их специфические социальные интересы существуют и в социалистическом (в частности, и в советском) обществе. Помимо давно известных рабочих, крестьян (колхозников) и интеллигенции, я бы выделил в особые группы работников административного аппарата (партийного и государственного) и офицерство (армейское, флотское, МВД, КГБ) объединять которые в одну группу с интеллигенцией было бы неверно ввиду явно вырисовывающегося различия их социальных интересов. Начинает формироваться и новая прослойка предпринимателей (кооператоров, фермеров и т. д.). Однако границы всех этих групп очень размыты, личностные связи (в том числе дружеские, брачные) в основном осуществляются через эти границы. В буржуазном обществе между слоями, например предпринимателей и рабочих, таких личностных связей довольно мало. Но там, особенно в наиболее развитых странах, гомогенизация общества идет путем разрастания «среднего класса», который имеет тенденцию ко все большему поглощению остальных социальных прослоек. Рисунок массовых коммуникаций, особенно средств массовой информации (пресса, телевидение и т. д.) также сегодня во всем мире все более теряет присущие ему ранее существенные локальные различия, имеет тенденцию (хотя еще далекую от полной реализации) к превращению во всемирную информационную сеть. Но если мы будем рассматривать ситуацию хотя бы 20-летней, а тем более 40—50-летней давности, различие не только по наличию или отсутствию сословно-классовых перегородок, но и по особой интенсивности именно диахронной информации в социалистическом обществе окажется очень значительным. Я никоим образом не оспариваю, что культивировавшаяся (и кое-где, особенно в так называемой военно-патриотической области, все еще культивируемая) у нас память о социальной революции и индустриальной реконструкции действительно была в целом ущербной и односторонней, хотя во многом (вспомним хотя бы кинофильм «Броненосец Потемкин» или прозу М. Шолохова) и достигавшей огромной силы идейного воздействия. Но называть ее карикатурной было бы несправедливо по крайней мере по отношению к целому поколению наших отцов и дедов, искренне веривших в утопические идеалы начала 20-х годов — и жестоко за это поплатившихся в конце 30-х. Уже скорее карикатурной можно назвать немалую долю нынешних попыток апологетики и романтизации белого движения, романовской династии и черной сотни, которыми так изобилует наше сверхлиберальное сегодня. Но какой бы ущербной ни была наша старая диахронная память, нельзя отрицать, что она все-таки была и в значительной мере определяла специфику нашего общественного сознания на протяжении ряда десятилетий, вплоть до самого недавнего времени. Да и сегодня воспоминания о революции, коллективизации, Великой Отечественной войне, послевоенной поре сталинизма занимают огромную долю новейшей публицистики, хотя ныне они и преподносятся с совсем иных, чем ранее, позиций. Так что характерный для социалистического бытия перевес в диахронике продолжает сохраняться.

Что же касается адекватного отображения истории, то оно возможно лишь в виде совокупности исторических трудов историков разных школ и партий, в полемике которых читатель должен разбираться сам, исходя из собственных гражданских позиций. При всем нашем пиетете к Н. М. Кaramzinу и его «Истории государства Российского» можно ли сказать, что они менее тенденциозны, более свободны от социального заказа своей эпохи, чем наши современники — советские историки и их недавние и более давние труды?

Насколько легко и безболезненно произойдет вытеснение социалистических национальных структур буржуазными при интеграции ГДР в ФРГ, покажет будущее. Думаю, что жителям Магдебурга и Лейпцига гораздо труднее будет справиться с грядущими изменениями в сфере занятости и социальной обеспеченности, нежели с «нахлынувшей волной эфемерных инфосвязей», к которым они уже более или менее привычны, так как давно имели возможность принимать западногерманское телевидение. А вот жителям российских городов уже сегодня, до «устранения глубинных причин хронического отставания в сфере синхронных достижений научно-технического прогресса», становится трудно справиться с бурлящим парадом тех рок-звезд, секс-бомб, астрологов, парапсихологов, чернокнижников, инопланетян и разных прочих супермонстров, которые с недавних пор вызывают к ним с телеэкранов и страниц полиграфической продукции и которые в американской, например, массовой культуре сейчас уже явно выходят из моды, уступая место довольно целомудренным и рационалистическим сюжетам. Но, может быть, это все тот же диалектический процесс постепенного снятия казавшихся непримиримыми противоположностей между буржуазным и социалистическим образом жизни? Он если и наметился отчетливо, то только в самые

последние годы и еще не мог найти отражения в той книге, о которой идет речь. Наше общество сейчас переживает революционные преобразования практически во всех аспектах своего бытия, и сегодня еще трудно сказать, какие преобразования и новшества окажутся перспективными, а какие преходящими. Французская революция ввела в жизнь девиз «свобода, равенство, братство» и гильотину, метрическую систему и новый календарь, гражданский брак и «культ верховного существа». Известно, как неодинакова оказалась реальная судьба этих нововведений.

Сформулировав, пожалуй, даже более четко, чем это смог бы сделать я сам, пять гипотез, составляющих мою концепцию этнических общностей, М. В. Крюков последовательно приводит доводы против доказательности каждой из них по порядку. О большинстве их уже было сказано. Что касается пятой гипотезы, об «ассоциированности» народностей с нациями, племен с народностями, а также, добавим, не исключающей в принципе и ассоциированности одних народностей с другими, более многочисленными и социально и культурно продвинутыми, то мой оппонент считает неубедительным голословно, на его взгляд, декларируемый мною тезис о различных ситуациях ассоциированности и ситуации ассимиляции. По мнению М. В. Крюкова, под ассоциированностью всегда скрывается ассимиляция и сам этот термин — не более чем «ласкающий слух эвфемизм».

Мне думается, что можно привести ряд довольно ярких примеров ассоциированности без ассимиляции. Так, например, абхазская народность (или соплеменность) в течение всей известной нам ее истории была тесно ассоциирована с грузинской народностью (затем нацией). В последние десятилетия именно в силу своего стремления к конституированию себя как нации, наталкиваясь на искусственные политические препятствия к реализации этого стремления, абхазский этнос в разных формах действий, более эмоциональных, чем рациональных, по существу разорвал эти отношения ассоциированности, однако полной самореализации как нации пока еще так и не обрел, реально скорее замещая потерянные связи ассоциированности с грузинами тенденцией к фактической или потенциальной ассоциированности с русской нацией. Однако был ли когда-либо в истории момент, когда можно было говорить об ассимиляции абхазов кем бы то ни было? Конечно, на личностном или локальном уровне отдельные факты ассимиляции имели место, однако, как ясно видно хотя бы из анализа фамильного состава современных абхазов, гораздо чаще происходила ассимиляция представителей соседних народов, более всего грузин (и в частности, мегрелов), но далеко не только их одних в абхазской этнической среде. Или возьмем курдов-езидов Армении. Их теснейшая ассоциированность с армянами по крайней мере на протяжении всего времени существования Армянской ССР не может оспариваться, однако можно ли привести хотя бы один конкретный случай ассимиляции армянами курдов-езидов? С другой стороны, в соседнем Азербайджане национальная группа курдов-мусульман, действительно, довольно интенсивно ассимилируется азербайджанцами, чему есть свои объяснения и конфессионального, и политического характера. В целом же, следует признать правоту М. В. Крюкова в том, что ситуация ассоциированности почти всегда содержит в себе потенциальную возможность перехода к ассимиляционным процессам и это касается как разных групп карел, мордвы, коми, селькупов, манси, хантов и других народов СССР, так и уэльсцев в Англии, бретонцев во Франции, басков в Испании и многих других народностей во многих других странах. Ассоциированная народность либо может выйти из состояния ассоциированности и реализоваться как нация (исландцы), либо вступить на путь окончательной ассимиляции (рюкюсцы), либо, наконец, оставаться неопределенно долго в состоянии ассоциированности (как это пока что, несмотря на все трудности, удавалось сербам-лужичанам в Германии и многим другим народностям в других странах).

В заключение своего отклика М. В. Крюков выражает мнение, что вся тональность раздела «Этнокультурные процессы в эпоху социализма» такова, что не верится, что книга вышла в 1989 г. Напомним, что раздел этот занимает неполных пять страниц, менее 2% общего объема книги, и там говорится и об искажениях принципов ленинской национальной политики, и об упадке издания литературы на разных языках, и о потере их знания у части младшего поколения, и о настроениях в пользу ассимиляции или вытеснения «нежелательных» меньшинств. Конечно, на эти пять страниц не попало многое, о чем, как я полностью признаю, не следовало бы умалчивать: многократная перестройка границ автономий на Северном Кавказе, закончившаяся депортацией нескольких народов — карачаевцев, балкарцев, ингушей и других, равноценного их широкому и планомерному геноциду, с последствиями которого мы не в состоянии справиться и по сей день; преследование турецкого меньшинства в Болгарии; разгром венгерской автономии в Румынии; подавление тибетского национального сопротивления в КНР и многое другое. Но эксцессы такого рода неспецифичны для стран социализма: можно вспомнить депортацию и сгон в концлагеря ни в чем не повинных граждан японского происхождения в годы второй мировой войны в США, террор в Ольстере, бедствия аборигенов в Австралии, трагедию уроженцев многих островов Океании в связи с испытаниями ядерного оружия и многие другие пятна на репутации даже самых благополучных буржуазных демократий. С другой стороны, каковы бы ни были преступления сталинизма против народов СССР в 1937—1953 гг., нельзя отрицать, что в 20-е и 30-е годы, а во многом и позднее в СССР проходило национальное строительство беспрецедентных масштабов — создание десятков письменностей и литератур, национальных школ профессиональной музыки, живописи, театра, формирование кадров национальной творческой интеллигенции и т. д. Спрашивается, было ли что-либо хоть отдаленно сопоставимое с этим в Турции или в Мексике, при всей радикальной прогрессивности правительств, пришедших к власти в этих странах практически одновременно с Октябрьской революцией в России, и при более или менее сопоставимых масштабах жертв, понесенных народами этих стран в ходе соответствующих национальных революций?

XIX век занял в истории более столетия — он начался в 1789 году и закончился в 1917-м. Не исключено, что история округлит счет столетий, и в будущем историческим концом XX века будет считаться 1989 год, год антиавторитарных революций в Восточной Европе. Но революция, которую мы переживаем сейчас, не означает конца социализма — она означает лишь, что изжили себя его административно-централизованные формы, как тоталитарные, сталинского типа, так и относительно либеральные, наподобие югославских. Некоторые самые общие попытки прогноза будущего этнокультурного развития народов мира предприняты в последней, заключительной главе моей книги, но в целом она посвящена тем реальностям, которые имели место в этнокультурной истории человечества до 1989 г. Я лишь пытался осветить их по возможности сбалансированно и объективно, без нарочитой конъюнктурно-модной политизации.

С. А. Арутюнов

© 1991 г., СЭ, № 3

Славяне: этногенез и этническая история. Межвузовский сборник. Л., 1989. 176 с. с картами и схемами.

Проблемы этнической истории стали в наше время едва ли не самыми актуальными в исторических исследованиях. «Происхождение славян» всегда было завораживающей темой для исследователей, но наиболее активно вопросы славянского этногенеза стали изучаться с середины 1970-х годов. Исследование велось по двум главным направлениям: археология (работы И. П. Русановой, В. В. Седова, посмертно изданный труд П. Н. Третьякова и др.) и лингвистика (в первую очередь заслуживает упоминания ежегодник «Балто-славянские исследования»). При том, что представители разных направлений стремились корректировать свои выводы, учитывая достижения иных дисциплин, возможности ограничения для взаимоисключающих, в том числе спекулятивных, построений оставались все же неопределенными. Так, по гипотезе О. Н. Трубачева, не существует особых препятствий для реконструкции праславянского языкового единства в период индоевропейской общности (на стадии распада, т. е. после IV тыс. до н. э.) на Дунае¹. С другой стороны, давняя «автохтонная» традиция, локализуящая праславян в Среднем Поднепровье, продолжает существовать в археологических штудиях Б. А. Рыбакова, отождествляющего славян-земледельцев со скифами-пахарями середины I тыс. до н. э.: эта гипотеза изложена даже на страницах школьного учебника и, таким образом, может влиять на формирование современного этнического самосознания. Для того, чтобы взаимная корректировка этногенетических исследований была эффективной, необходимо учитывать не просто выводы, но и методику разных дисциплин (во всяком случае настолько, чтобы не приписывать самоназвание ираноязычных скифов — *сколоты* славянам, как это делает Рыбаков).

Задачи междисциплинарного синтеза все более отчетливо ставятся в исследованиях по этнической истории; междисциплинарным исследованием посвящен и рецензируемый сборник, составленный из работ участников семинара по этногенезу и этнической истории при кафедре археологии ЛГУ. Как введение к сборнику можно рассматривать статью одного из редакторов — А. С. Герда «О некоторых вопросах теории этногенеза». Автор подчеркивает необходимость междисциплинарных исследований определенного ареала во всей совокупности связанных с ним этносов — «демогенезиса» (с. 6). При этом представляется принципиально важным положение статьи о том, что показательны не только «совпадения» результатов археологических и лингвистических исследований, но и несовпадения (с. 10). Действительно, полного совпадения ареалов археологических культур, языка и «демаса» (популяции в антропологическом смысле) практически не бывает: см. варианты сочетания «этнических признаков» в статье Н. Н. Цветковой «Антропологический материал как исторический источник» (с. 22—23). Причем даже случаи их «совпадения» (как после завоевания Дунайской Болгарии праболгарами) относятся лишь ко времени завершения этногенеза, но не к этногенетическому процессу в целом.

Так или иначе, исследователям приходится иметь дело с несовпадающими границами нескольких накладываются один на другой ареалов, и наиболее перспективными представляются, как правило, поиски некоего ядра, «прародины» и т. п. Методике таких поисков посвящена статья В. А. Булкина и А. С. Герда «К этнографической географии Белоруссии», а для ранней праиндоевропейской эпохи — статья А. И. Зайцева «Реки индоевропейской прародины» (в последней работе проблематичной остается правомерность прямого соотнесения мифопоэтических описаний с географическими реалиями). Методика такого рода предлагается и в интересной, но весьма спорной статье Ю. М. Лесмана «К постановке методических вопросов реконструкции этногенетических процессов». Признаком этнической консолидации автор предлагает считать проницаемость этнической территории для «импортов» (привозных изделий), которые обнаруживают устойчивость внутриэтнических связей. Однако, во-первых, при этом нельзя не учитывать интенсивность внешних влияний: римские «импорты» охватывают чуть ли не весь Старый Свет, что свидетельствует прежде всего об уровне экономических связей империи, а не об этногенетических процессах; во-вторых, само представление об «импортах» нуждается в уточнении, так как для времени сложения древнерусского этноса (ср. с. 17) характерны такие скандинавские «импорты», которые могли проникнуть в Восточную Европу только вместе с «носителями». «Импорты», таким образом, могут обнаруживать процессы миграции, а не собственно этногенетические процессы. В целом для ре-